

Федор Буслаев

Мои воспоминания



Федор Буслаев
Мои воспоминания

«Public Domain»

1891

Буслаев Ф. И.

Мои воспоминания / Ф. И. Буслаев — «Public Domain», 1891

«Федор Иванович Буслаев родился 13 апреля 1818 г., умер 31 июля 1897 г. Тотчас по окончании курса в Московском университете в 1838 г. он начал свою педагогическую, а с 1842 г. – литературно-ученую деятельность; первая окончилась в 1881 г., когда Федор Иванович отказался от чтения лекций в Московском университете; ученые же занятия Федора Ивановича прекратились вместе с празднованием его пятидесятилетнего юбилея в 1888 г. ...»

© Буслаев Ф. И., 1891

© Public Domain, 1891

Содержание

От издателя В. Г. Фон-Бооля	5
Мои воспоминания	7
I	7
II	10
III	18
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Федор Буслаев

Мои воспоминания

От издателя В. Г. Фон-Бооля

Федор Иванович Буслаев родился 13 апреля 1818 г., умер 31 июля 1897 г. Тотчас по окончании курса в Московском университете в 1838 г. он начал свою педагогическую, а с 1842 г. – литературно-ученую деятельность; первая окончилась в 1881 г., когда Федор Иванович отказался от чтения лекций в Московском университете; ученые же занятия Федора Ивановича прекратились вместе с празднованием его пятидесятилетнего юбилея в 1888 г.¹

Еще до своего юбилея Федор Иванович стал замечать, что левый глаз его стал худо видеть; призванный окулист нашел появление желтой воды. Несмотря на принятые меры, вскоре и другой глаз был поражен тем же недугом, и зрение Федора Ивановича стало все более и более ухудшаться. Летом 1888 г. Федор Иванович еще сам подготовлял новое издание своего учебника русской грамматики, делая в нем дополнения и изменения. Это была последняя его работа; в течение зимы зрение его настолько ослабело, что ему было запрещено самому читать. Хотя он с полной покорностью и с христианским смирением перенес это тяжелое испытание, но уменьшение привычной самостоятельной умственной деятельности, видимо, вредно отозвалось на нем: он стал заметно слабеть. Один из его друзей посоветовал ему заняться диктовкой своей биографии и своих воспоминаний. Сначала Федор Иванович не соглашался на это, говоря, что он не может сообщить ничего интересного; однако после настояний и уговоров, согласился приняться за эту работу, а начавши ее, продолжал уже не только охотно, но даже с увлечением. Труд этот наполнил его жизнь, и он опять повеселел и стал бодрее. Воспоминания свои Федор Иванович писал в течение 1889, 1890 и 1891 годов; они, как впрочем все, выходявшее из-под его пера, оказались написанными талантливо и дают весьма важные указания для уяснения недавнего прошлого русской литературы и истории Московского университета.

С осени 1892 г., когда «Воспоминания» были окончены, друзья Федора Ивановича были озабочены доставлением ему нового занятия. Было задумано описать собрание его рукописей; предполагалось составить полный каталог этих рукописей, причем Федор Иванович должен был указать время появления каждой из них литературное и историческое значение ее и сделать оценку как самой рукописи, так и тех миниатюр, которые в ней находятся. Работа эта до такой степени заинтересовала Федора Ивановича, что он, постоянно думая о ней, находился в возбужденном состоянии и, по словам его близких, даже бредил о ней ночью. Чтобы не слишком утомлять Федора Ивановича, решено было заниматься только по воскресеньям и праздникам от 12 до 4 часов. В первое же воскресенье все рукописи были разобраны по отделам; в понедельник и вторник Федор Иванович стал рассматривать их, но глаза его от напряжения стали быстро утомляться; от сознания и огорчения, что он не в состоянии заняться этой работой, у него разболелась голова, появился жар, и он слег в постель. По всей вероятности, это дало только толчок для развития какой-то скрытой болезни его, так как он проболел всю зиму 1892/93 г., хотя самая болезнь и не была точно определена докторами. Во всяком случае, пришлось отказаться от задуманной работы, и сам Федор Иванович во время болезни не раз высказывал глубокое сожаление о том, что он не может исполнить столь интересный для него

¹ Мы не помещаем здесь ни биографии покойного Федора Ивановича, ни перечня его ученых и литературных трудов, так как в течение второй половины 1897 г. об этом печаталось во всех столичных и даже провинциальных газетах и журналах. Подробные указания его ученых трудов помещены в V томе Критико-биографического словаря С. А. Венгерова (СПб., 1897 г.).

труд: «Если бы, – говорил он, – одним годом раньше надоумили меня взяться за него; теперь же глаза мои уже не могут более смотреть: я почти слеп».

Только летом 1893 г. Федор Иванович, живя на даче Наживина (около Покровского), окончательно поправился.

Гуляя летом по парку, Федор Иванович любил спутнику своему рассказывать из прошлого своей жизни. Часть этих рассказов потом он поместил в «Мои воспоминания», но очень многое не было внесено в них. Поэтому один из его друзей начал сам записывать его рассказы, и однажды прочел ему его же рассказ, прося позволения, после каждой беседы с ним, записывать и потом прочитывать ему слышанное от него. Федор Иванович не только согласился на это, но даже взялся сам диктовать ему различные события, не вошедшие в отпечатанные уже «Мои воспоминания». Таким образом, появилась интересная рукопись, которую сам Федор Иванович озаглавил: «Дополнения к «Моим воспоминаниям»». С 24 августа 1893 г. по 1 марта 1896 г. Федор Иванович аккуратно один раз, а когда мог, то и два раза в неделю диктовал «Дополнения» и довел их до конца (рукопись включает в себе 406 страниц листового формата). В заключение «Дополнений» Федор Иванович хотел еще продиктовать две главы: одну педагогического, другую психологического содержания, которые, по его словам, составили бы его profession de foi; но после 1 марта (на Страстной неделе) он заболел инфлюэнцей и слег. Болезнь разом подкосила как физические его силы, так и его память: он не мог ходить и стал забывать самые обыкновенные события. Лето он провел на даче в Люблине, где хотя и поправился, но ни физические силы, ни память его уже не восстановились. Вот почему, по возвращении в город в августе, он отказался диктовать вышеупомянутые две главы; вместо этого он думал привести в порядок свои заметки о слоге Тургенева. Заметки эти Федор Иванович составлял много лет; но они были разбросаны на различных клочках бумаги и отчасти на полях книг; эту-то работу Федор Иванович хотел привести в систему зимой 1896/97 г. Однако и эта работа оказалась ему не под силу, и всю зиму он мог только слушать то, что ему читали и говорили. Он был настолько слаб, что с приезда в город ни разу не решился выйти на воздух. В июне 1897 г. Федор Иванович поехал на дачу опять в Люблино, где вскоре окончательно слег и 31 июля его не стало...

Настоящее издание «Моих воспоминаний» Ф. И. Буслаева мы сохранили в том виде, в каком они были напечатаны в «Вестнике Европы» в 1890, 1891 и 1892 годах; при этом мы восстановили ту орфографию, которой держался сам автор, указывая при диктовке своих записок на те слова, в правописании которых он не соглашался с Гротом. Что касается «Дополнений к «Моим воспоминаниям»», то хотя четыре главы их и были напечатаны при жизни Федора Ивановича (три главы в «Почине» Общества Любителей Российской словесности 1896 г. и одна в «Вестнике Европы» 1896, N 1), но мы их здесь не поместили, чтобы не нарушать цельность его записок, признавая в то же время печатание «Дополнений» в полном виде пока неудобным. Если «Дополнения» эти когда-нибудь появятся в печати, то отдельной книгой, составив вторую часть «Моих воспоминаний».

Москва, 1897 г.

Декабрь.

Издатель.

Мои воспоминания

Посвящается моим ученикам и ученицам

I

...В июле месяце 1834 г. отправился я из Пензы в Москву держать экзамен в университет вместе с моим товарищем Даниловым. Мне только что минуло 16 лет 13 апреля, и я был совсем еще маленьким мальчиком, и голос у меня был совсем ребяческий. Выростал я уже потом, в течение всего четырехлетнего университетского курса.

Решительно ничего не помню, как я расставался с своей матушкой, от которой мне еще ни разу в жизни не приходилось отлучаться; не помню, вероятно, потому, что я сильно поглощен был этим необычайным переворотом в моей жизни, горестью разлуки, страхом ожидания будущего.

Поехали мы в кибитке парю, на долгих, не торопясь, шажком. По дороге останавливались кормить лошадей и переночевывать. По всему шестисотверстному пути, должно быть, мне редко случалось глядеть по сторонам, потому что я, не переставая, читал и учил наизусть всеобщую историю, кажется – Шрекка, которою тогда была заменена в гимназиях Кайданова. Живое помню только одно, сильно подействовавшее на меня впечатление. Проехав дней шесть, мы остановились у одной почтовой станции. Перед ней стоял полосатый верстовой столб. На стороне, обращенной назад, было начертано: «От Пензы 300 верст», а на стороне вперед тоже: «От Москвы 300 верст». Должно быть, сильно поразила меня тогда мысль, что я стою на линии великого для меня жизненного перевала.

Впоследствии случалось мне не раз вспоминать об этом верстовом столбе всякий раз, когда я читал, как Вильгельм Мейстер, в «Wanderjahre», отправившись из дому в далекое странствие, добрался, наконец, в самой верхней долине высоких гор, до перевала, отделяющего течение потоков и рек: одни спускались назад, по дороге, уже им пройденной, а другие – вперед. И когда он только что стал спускаться, живо почувствовал, что он вступил в другие воды и на другие берега, и сердце его сжалось тоскою по родине и тяжелым недоумением: что-то ждет его впереди!?

Наслышавшись дома, как белокаменная Москва, подражая древнему Риму, разлеглась на семи холмах, мы с нетерпением ждали, когда приближались к ней, и вперяли свои взоры вдаль, чтобы увидеть на горизонте ее пресловутые золотые маковки, и, конечно, мы насладились бы невиданным для нас зрелищем с Поклонной горы, если бы ехали по смоленской дороге. Но со стороны Рогожской заставы мы и не заметили, как попали в Москву, и ехали уже по Рогожской улице, полагая, что это еще какая-нибудь слобода; мы все не переставали ждать и надеяться, что вот, наконец, представится уже нам и сама Белокаменная на одном из холмов с своим Кремлем и соборами. Но слобода все тянулась и тянулась. Избы и деревянные лачуги сменялись изредка домиками и домами, а затем пошли и целые улицы с сплошными каменными зданиями. Мы обманулись в своем ожидании и очутились в Черкасском переулке, между Никольской и Ильинкой, в темноватой и затхлою комнатке с одним окном, выходящим на длинную галерею, окружающую двор гостиницы, или, как говорилось тогда, подворья. Таково было первое впечатление при водворении моем в древней столице, где мне суждено было с 16-летнего возраста прожить до глубокой старости. Привыкнув к широкому раздолью гористой Пензы с окружающими ее полями и дремучими лесами, я почувствовал то, что, вероятно, должна почувствовать птичка, попавшая в клетку или в западню. Может быть, это тяжелое впечатление помутилось и чувством разлуки с матушкой, которое тогда с особенной силой

меня обуяло, а может быть и потому, что только теперь во всем ужасе предстало передо мной решение ожидающей меня судьбы.

Не помню, сколько дней прожили мы в гостинице, только не долго. Она оставила во мне одно странное воспоминание, которое и до сих пор иногда возобновляется, когда я прохожу по Черкасскому переулку. Это – какое-то особого рода зловоние, какого я прежде никогда не ощущал: это – своего рода запах от всяких нечистот с приправою гнилых лимонных корок, которыми во множестве усеяны были помойные ямы нашей гостиницы. Это были лимонные кружки из-под чая, которые выбрасывали половые.

Помнится, водворились мы в гостинице около вечере. Солнце еще было высоко на горизонте. В этот же день мы пошли на поиски. Данилов, как человек несравненно практичнее меня... должен был нам найти квартиру, разумеется, со столом, а я отправился с письмом от матушки к Кастору Никифоровичу Лебедеву. Жил он у Протасовых, в их собственном доме на Собачьей площадке, в Дурновском переулке. Дом этот стоит и теперь, – первый на правой стороне переулка, вслед за дровяным двором, который выходит углом на площадку. Большую часть жизни проведши в этой местности, всякий раз во время моих прогулок проходя этим переулком, никогда не мог я не вспомнить того далекого времени, когда я с трепетом ожидания и надежды пошел в ворота между флигелем направо и домом налево, поднялся на крылечко и постучался в дверь, – потому что в письме матушки был мой талисман, – и, перешагнув через порог, я делал первый шаг в манящее меня грозное будущее.

Надобно знать, что Лебедев был сын самой близкой приятельницы моей матушки и давал мне уроки, будучи учеником гимназии, когда я мальчиком лет 9 был в приготовительном пансионе его матери, Марии Алексеевны Лебедевой, собственно предназначенном только для девочек, между которыми я составлял привилегированное исключение. Когда я постучался к нему в Дурновском переулке, он уже был кандидат Московского университета и магистрант по истории, любимец профессора Погодина, который пользовался тогда известностью как ученый и литератор. Рекомендуя меня Погодину, Лебедев мог обеспечить и облегчить мое вступление в университет влиянием такого авторитетного профессора. Но мои волнения и ожидания были напрасны. Лебедев, точно, жил у Протасовых, но вместе с ними уехал в деревню, а вернется в Москву не раньше сентября, т. е. когда уже будут покончены вступительные экзамены в университет и когда решится моя судьба. Однако мой талисман, как увидите, оказал свое спасительное действие, и влияние Лебедева, хотя и заочное и без его ведома, и совершенно случайно, дало самый благоприятный исход всем моим заботам и тревожениям.

Очень скоро и удачно мой милый товарищ нашел квартиру, во всех отношениях для нас удобную и удовлетворительную, а главное вблизи от университета, именно на Арбате, не доходя до Николая Явленного, наискосок против церкви, между Афанасьевским и Старокопюшенным переулками. Дом этот существует и теперь – и носит имя того же хозяина: Ариоли, – одноэтажный, с мезонином. Наша квартира была не в этом доме, а на дворе в двухэтажном каменном флигеле, который и до сих пор прямо в глубине двора виднеется с улицы из ворот. Наняли мы себе помещение в квартире сапожника, во втором этаже, куда ведет прямая лестница с навесом. В нижнем этаже была мастерская сапожника и жили его мастера. Наш хозяин и его жена были еще очень молодые люди. Хозяйка, Анна Андреевна, очень заботилась о нас обоих, кормила досыта, и до сих пор я не забыл ее вкусную стряпню. Хозяина не помню как звали, Кузьмою или Кузьмичом. У них было двое маленьких детей, сын и дочь. Помню, мы ими забавлялись, играли с ними, отдыхая от утомительного долбления, приготавливаясь к экзамену. Впоследствии, лет через 20 с лишком, дошли до меня верные сведения, что мальчик, с которым мы игрывали, вырос здоровенным и ловким акробатом, напяливал на себя в обтяжку трико, искусно плясал на канате, перекидывая из одной руки в другую тяжелые гири. Девочка превратилась в балаганную примадонну и отличалась звонким голосом в пении. Все это я узнал от их матери, которая лет 25 тому назад, когда я был уже женатым профессором,

иногда заходила к нам, и мы вместе с ней вспоминали о том, как она нас с Даниловым угощала, лелеяла и покоила. Что касается до ее мужа, то и он тогда еще здравствовал, но увлекся артистической карьерою своих детей; бросил ремесло сапожника, обеднел и пристроился к театру в качестве барышника, предлагающего театральные билеты то у Большого, то у Малого театра, где я несколько раз сряду и встречался с ним как со старым знакомым...

Сколько возможно, я успокоился, углубившись в приготовление к экзамену, хотя глухая тревога и тяжело лежала на сердце, а тревожиться было от чего: во-первых, как раз с 1834 г. были назначены приемные экзамены строгие, и их требованиям не могли удовлетворить мои познания, полученные в пензенской 4-классной гимназии, а во-вторых. – и это самое главное, – для меня настоятельно необходимо было выдержать экзамен не для того, чтобы только поступить в университет, а чтобы обеспечить самое свое существование, т. е. быть принятым в число казеннокоштных студентов, и притом как можно скорее. Не выдержи я экзамена, мне пришлось бы в Москве помереть с голоду, а о возвращении в Пензу нечего было и думать без копейки в кармане. В наличности было у меня тогда всего 25 рублей ассигнациями, потеперешнему 8 рублей с копейками; этого едва хватало на два месяца за квартиру со столом. Экзамен был для меня только средством для достижения этой цели, и грозная мысль о существовании заслоняла в моих думах заботы об экзамене. Это было для меня какое-то смутное время, и я решительно ничего не помню, как я пришел в первый раз в стены университета и к кому явился подать просьбу о допущении меня к экзамену, и как потом справлялся, в какие дни и часы будет он назначен, и таким образом, будто проснувшись от тяжелого сна, я вдруг очутился на первом экзамене в большой аудитории, наполненной толпою незнакомых мне юношей.

Этой аудиториию была тогда в старом здании университета та большая библиотечная зала, в которой десятки лет происходили публичные заседания Общества Любителей Российской словесности. Экзаменующиеся разместились по лавкам, расставленным в несколько рядов против окон, а впереди на пустом пространстве стояло четыре или пять столиков в расстоянии один от другого, и за каждым по экзаменатору; они сидели задом к окнам.

Решительно не помню, с какого предмета я начал свой экзамен и как я продолжал его и довел до конца; не помню также и того, что меня спрашивали и как я отвечал. Все это осталось в моей памяти какими-то темными пятнами, из-за которых ярко выступает одно великое для меня событие, которое, как я глубоко убежден, решило судьбу моего экзамена.

И теперь, когда я это рассказываю, живо представляется мне во всех подробностях, как я стою у столика, а передо мною сидит профессор богословия Петр Матвеевич Терновский, с окладистой бородою и строгими взорами – он казался мне тогда таким величественным и недоступным – и слушает, как я ему рассказываю довольно подробно какое-то событие из священной истории. В это самое время подходит к нему молодой человек лет 30-ти в форменном фраке, остановился, посмотрел на меня и стал слушать, что я говорю. Его добрый, снисходительный взгляд точно приласкал меня, воодушевил, и я продолжал рассказывать с такой искренностью, с таким убеждением, которыми я будто хотел ответить на дружеское приветствие старого знакомого. Когда я кончил, молодой человек спросил меня, откуда я родом и где учился. Отвечая ему, я назвал своих учителей и между прочими упомянул о Касторе Никифоровиче Лебедеве. Мне показалось, что его взгляд вдруг просветлел и легкая улыбка мелькнула по чертам лица. Он отвечал, что Кастора Никифоровича хорошо знает, и своим задушевным голосом сказал мне: «Если что вам понадобится, приходите ко мне». Когда я с радостью возвратился на скамейку к товарищам, мне сказали, что я говорил с Михаилом Петровичем Погодиным.

Да. это был первый луч радости, осветивший меня по приезде моем в Москву.

При содействии Михаила Петровича, я благополучно выдержал экзамен, а в сентябре, при его же содействии, был принят в число казеннокоштных студентов.

II

Общежитие наше называлось не бурсою, как принято в семинариях, и не институтом, как были тогда дворянский и педагогический институты, а просто казенными номерами. Помещалось в них по комплекту полтора человека, и именно сто студентов медицинского факультета и пятьдесят философского, разделявшегося тогда на два отделения – на словесное и физико-математическое. Номеров было около пятнадцати, одни: подряд, для медиков, а другие, тоже подряд, для остальных пятидесяти студентов.

Наше общежитие занимало весь верхний этаж так называемого старого здания московского университета, в отличие от нового, в котором теперь читаются лекции, и которое тогда еще не было готово. Лекции читались в том же старом здании под нашими номерами, и только с 1835 г. были переведены они в новое.

К нам наверх было два входа: один с парадного крыльца, через обширные сени, которыми в последнее время входили в университетскую библиотеку, а другой – со стороны заднего двора, с правого угла здания.

В номерах мы проводили весь день и вечер до 11 часов, а спать уходили в дортуары, которые были значительно больше наших номеров и находились в правом крыле университетского здания, если смотреть со стороны Моховой. Номера и спальни размещались по обе стороны коридора, который тянулся по всему зданию от левого крыла, выходящего на Никитскую, и до правого. Между дортуарами и номерами была большая зала, в которую мы, проснувшись, выходили умываться. Вдоль стен ее стояли сплошные гардеробные шкафы с нашим платьем и бельем, а посередине – две громадные посуды. На каждой в виде огромного самовара или паровика резервуар для воды, которую умывающийся добывал, поднимая и спуская вложенный в отверстие ключ. Таких ключей в посудине было не менее десяти, так что в самое короткое время успевали умыться все полтора студента. Здесь же цирюльники брили усы и бороду более пожилым из нас, или, точнее, более совершеннолетним, на которых, озираясь назад от той машины во время умыванья, мы взглядывали с уважением и особенно, когда бремый вскрикивал и давал пощечину брадобрею. Это осталось особенно живо в моей памяти, потому что случалось почти ежедневно, так как подрядчик-цирюльник обыкновенно командировал к нам неумелых мальчишек, чтобы напрактиковать их в бритье.

Номер, в котором я жил в течение всех четырех лет университетского курса, занимал задний угол здания с окнами на Никитскую и на задний двор университета, где и теперь еще находится сад, в котором мы обыкновенно гуляли и, сидя на скамейках, читали книги или заучивали свои лекции.

Пить чай, обедать и ужинать мы спускались в нижний этаж, в громадную залу, в которой за столами, расставленными в два ряда, могли свободно разместиться мы все в числе полутора человека.

Чтобы не пропускать ничего, надобно прибавить, что в том же верхнем этаже, при наших номерах, находились еще две комнаты, одна побольше, для нашей библиотеки, так сказать, фундаментальной, с книгами более дорогими и многотомными, а другая поменьше, с одним окном, выходящим на задний двор с садом – для карцера. С тех пор, как явился к нам попечителем граф Сергей Григорьевич Строганов в 1835 г., вместе с инспектором Платоном Степановичем Нахимовым, комнатка эта навсегда оставалась пустою. Но в первый год моего студенчества, еще в попечительство князя Сергея Михайловича Голицына и его помощника Дмитрия Павловича Голохвастова, в ней приключилась великая беда.

Карцер помещался как раз над большою аудиториею первого курса, находящеюся под упомянутою выше библиотечною залою, с окнами также на задний двор. Дело было осенью. Лекцию читал Степан Петрович Шевырев, на кафедре, стоящей к стене между окнами.

Мы с своих лавок слушали и смотрели на профессора и в окна. Вдруг направо за окном мгновенно пролетела какая-то темная, длинная масса и вместе с тем раздался страшный, раздражающий душу вопль. Мы все повскакали со скамеек. Степан Петрович опрометью бросился с кафедры, и все мы вместе с профессором стремглав ринулись из аудитории на заднее крыльцо (дверь на него из больших сеней теперь уже заделана). Налево от него, на каменном помосте лежал ничком человек в солдатской шинели, не шелохнувшись; около него уже суетилось человека три из университетской прислуги, поворачивая его навзничь. Он был уже мертв, с окровавленным и изуродованным лицом. Это был казеннокоштный студент, накануне посаженный в карцер за то, что был мертвецки пьян, а на другой день в 12 часов дня бросился из окна, как и почему осталось неизвестным. Тотчас же вслед за этой катастрофой было приказано в это окно вставить железную решетку.

Живя в своих номерах, мы были во всем обеспечены и, не заботясь ни о чем, без копейки в кармане, учились, читали и веселились вдоволь. Нашему довольству завидовали многие из своекоштных. Все было казенное, начиная от одежды и книг, рекомендованных профессорами для лекций, и до сальных свечей, писчей бумаги, карандашей, чернил и перьев с перочинным ножичком. Тогда еще перья были гусиные и надо было их чинить. Без нашего ведома нам менялось белье, чистилось платье и сапоги, пришивалась недостающая пуговица на вицмундире. В номере помещалось столько студентов, чтобы им было не тесно. У каждого был свой столик (конторки были заведены уже после). Его доска настолько была велика, что можно было удобно писать, расставив локти; под доскою был выдвижной ящик для тетрадей, писем и всякой мелочи, а нижнее пространство с створчатыми дверцами было перегорожено полкою для книг; можно было бы класть туда что-нибудь и съестное или сласти, но этого не было у нас в обычае и мы даже гнушались такого филистерского хозяйства. Если случалось что купить съестного, мы предпочитали истреблять тут же или на улице. В нашем номере был только один запасливый студент, из математиков. Он как-то ухищрялся экономить свои сальные свечи, и, таким образом, держал в своем столике всегда порядочный их запас и ссужал того из нас, у кого не хватало свечи.

Столики были расставлены аршина на два с половиной друг от друга вдоль стен, но так, чтобы садиться лицом к окну, а спиною ко входной двери, ведущей в коридор. Вдоль глухой стены помещался широкий и очень длинный диван с подушкой, обтянутой сафьяном, так чтобы двое могли улечься враспяжку головами врознь, не толкая друг друга ногами. Над диваном висело большое зеркало. Впрочем, не помню, чтобы кто-нибудь из нас интересовался своей личностью и любовался на себя в зеркало, кроме одного. Это был самый неуклюжий- и безобразный из нас, колченогий, весь перекосясь, с бледным рябым лицом, с бесцветными, посоловелыми глазами, с такими же бесцветными, белесоватыми бровями и такими же волосами, которые топырились дыбом, с широким носом и толстыми губами на продолговатом лице. Мы его звали Квазимодо, потому что были уже знакомы тогда с романом Гюго. Это был некто Шнейдер, кончивший курс в так называвшемся тогда холерном заведении, – т. е. для сирот, родители которых померли холерою в 1830 году. Здание, в котором помещалось это учебное заведение, впоследствии было переделано и дополнено новыми корпусами для военного училища, находящегося на углу Знаменки и Пречистенского бульвара. Как только закончит Шнейдер по номеру, уж непременно остановится перед зеркалом и внимательно посмотрится в него, устраивая себе умильные взоры и привлекательные выражения.

В помещении, где с утра и до поздней ночи собрано до десятка веселых молодых людей, никакими предписаниями и стараниями нельзя водворить надлежащую тишину и спокойствие. У нас в номере не выпадало ни одной минуты, в которую пролетел бы над нами тихий ангел. Постоянно в ушах гам, стукотня и шум. Кто шагает взад и вперед по всему номеру, кто бранится с своим соседом, а то музыкант пилит на скрипке или дудит на флейте. Привычка – вторая натура, и каждый из нас, не обращая внимания на оглушительную атмосферу, усердно

читал свою книгу или писал сочинение. Так привыкают к мельничному грохоту, и самая тишина в природе, по учению древних философов, есть не что иное, как сладостная гармония бесконечно разнообразных звуков. Я не отвык и до глубокой старости читать и писать, когда кругом меня говорят, шумят и толкуются.

Для сношений с начальством по нуждам товарищей и для каких-либо экстренных случаев в каждом номере выбирался один из студентов, который назывался старшим. Он же призывался к ответу и за беспорядок или шалость, выходящие из пределов дозволенного. Последние два года до окончания курса старшим студентом был назначен я.

Ближайшим начальством нашим был дежурный субинспектор. Тут же из коридора был для него небольшой кабинет, нечто вроде канцелярии, так что во всякое время каждый студент мог обратиться к нему с своим делом.

Наши дни и часы были подчинены строгой дисциплине. Мы вставали в семь часов утра. В восемь пили в столовой чай с булками, а в девять отправлялись на лекции, возвращались в два часа, и в половине третьего обедали, а в восемь ужинали, в одиннадцать ложились спать. Кто не обедал или не ужинал дома, должен был предварительно уведомить об этом дежурного субинспектора, а также испросить у него разрешение переночевать у родных или знакомых с сообщением адреса, у кого именно.

Кормили нас недурно. Мы любили казенные щи и кашу, но говяжьи котлеты казались нам сомнительного достоинства, хотя и были сильно приправлены бурой болтушкой с корицею, гвоздикой и лавровым листом. Из-за этих котлет случались иногда за обедом истории, в которых действующими лицами всегда были медики. Дело начиналось глухим шумом; дежурный субинспектор подходит и спрашивает, что там такое; ему жалуются на эконома, что он кормит нас падалью. Обвиняемый является на суд, и начинается расправа, которая обыкновенно ни к чему не приводила. Хорошо помню эти истории, потому что и мне, и многим другим из нас они очень не нравились по грубости и цинизму.

Впрочем, эти мелочи заслоняются передо мною одним тяжелым воспоминанием, которое соединено со стенами нашей столовой. Был один медик уже последнего курса, можно сказать пожилой в сравнении с нами, словесниками, среднего роста, с одутлым лицом и густыми рыжеватыми бакенбардами, даже немножко лысый. Фамилии его не припомню. Приходим мы обедать, и только что расселись по своим местам, – на пустом пространстве между столами появилась фигура в солдатской шинели, и медленными шагами, понуриив голову, стала приближаться. Это был тот самый студент. Мы были взволнованы и потрясены неожиданным впечатлением жалости и горя, потому что хорошо понимали весь ужас этого шутовского маскарада. Медленно и тихо прошел он далее и сел у окна за маленьким столиком, назначенным для его обеда.

За большие проступки наказывали тогда студентов солдатчиною. На первый раз, в виде угрозы и для острастки другим, виновный только облакался вместо вицмундира в солдатскую сермягу и как бы выставлялся на позор; если же потом снова провинится, ему брили лоб. Само собою разумеется, рассказанный случай мог произойти только в первый год моего пребывания в университете при князе Сергии Михайловиче Голицыне, который был попечителем только для парада; всеми же делами по управлению округа заведовал Дмитрий Павлович Голохвастов. Тогда зачастую слышалась угроза солдатчиною, и спустя много лет после того мерещилось мне иногда во сне, что мне бреют лоб, и я надеваю на себя солдатскую амуницию. Слава Богу, что на следующий год явился к нам граф Сергей Григорьевич Строганов и привез с собою нашего милого и дорогого инспектора Платона Степановича Нахимова. С тех пор страхи и ужасы прекратились, и наступило для студентов счастливое время.

Описывая топографию нашего общежития, я должен присовокупить, что целую половину дня, свободную от лекций, мы проводили не в номерах, а в трактире. Он назывался «Железным», потому что помещался над лавками, в которых и теперь торгуют железом – насы-

против Александровского сада, где он оканчивается углом к Иверской. Содержал его купец Печкин. Для нас, студентов, была особая комната, непроходная, с выходом в большую залу с органом, или музыкальной машиной. Не знаю, когда и как студенты завладели этой комнатой, но в нее никто из посторонних к нам не заходил; а если, случайно, кто и попадал из чужих, когда комната была пуста, немедленно удалялся в залу. Вероятно, мы обязаны были снисходительному распоряжению самого Печкина, который таким образом был по времени первым из купечества покровителем студентов и, так сказать, учредителем студенческого общежития. В той комнате мы читали книги и журналы, готовились к экзамену, даже писали сочинения, болтали и веселились, и особенно наслаждались музыкою «машины», а собственно из трактирного продовольствия пользовались только чаем, не имея средств позволить себе какую-нибудь другую роскошь. Впрочем, когда мы были при деньгах, устраивали себе пиршество: спрашивали порции две или три, разделяя их между собою по частям.

Особенную привлекательность имел для нас трактир потому, что там мы чувствовали себя совсем дома, независимыми от казеннокоштной дисциплины, а главное, могли курить вдоволь; в здании же университета это удовольствие нам строго воспрещалось. Чтобы соблюдать экономию, мы приносили в трактир свой табак, покупая его в лавочке, и то не всегда целой четверткой, а только ее половиною, отрезанною от пакета. И чай пили экономно: на троих, даже на четверых и пятерых спрашивали только три пары чаю, т. е. шесть кусков сахара, и всегда пили вприкуску несчетное количество чашек, и потому с искусным расчетом умели подбавлять кипяток из большого чайника в маленький с щепоткою чая. С того далекого времени и до сих пор я не иначе пью чай, как вприкуску, только не такой жиденький. Разумеется, многие из нас были без копейки в кармане, а все же каждый день ходили в трактир и пользовались питьем чая и куреньем. Всегда у кого-нибудь из нас оказывался пятиалтынный на три пары. Сверх того, нам поверяли и в долг.

Чувство благодарности заявляет меня сказать, что кредитором нашим в этом случае был не сам Печкин и не его приказчик Гурин, заведовавший этим трактиром, а просто-напросто половой нашей трактирной комнаты, по имени Арсений (он называл себя Арсентием, и мы его звали так же, ярославский крестьянин лет тридцати пяти, среднего роста, коренастый, с русыми волосами, подстриженными в скобку, и с окладистой бородой того же цвета, с выражением лица добрым и приветливым. Он был грамотный, интересовался журналами, какие выписывались в трактире, и читал в них не только повести и романы, но даже и критики – и особенно пресловутого барона Брамбеуса. И жена Арсентия, в деревне, тоже была грамотна и учила своих малых детей читать и писать. Арсентий был нам и покорный слуга, и усердный дядька, вроде тех, какие еще водились тогда в помещичьих семьях. Только что мы появимся, тотчас же бежит он за непременною тремя парами и вслед за тем непременно преподнесет номер журнала, в котором вчера еще не была дочитана нами какая-нибудь статья; а если вышел новый номер, тащит его нам прежде всех других посетителей трактира и преподносит, весело осклабляясь.

В финансовом отношении значительно отличались казеннокоштные студенты двух младших курсов от старших: первые пробавлялись немногими рублями, изредка получаемыми от родителей или родственников, а последние могли добывать очень крупные, в наших глазах, суммы от уроков; медики же, кроме того, промышляли и практикою.

Кто бы из товарищей по номеру ни получил денег, это событие доставляло общую радость всем нам, и особенно ближайшему другу счастливого получателя. И вот начинается забавная и трогательная процедура получения присланной суммы. Из университета надо идти на Мясницкую в почтамт с повесткою; но ведь там толкотня, народу гибель, как раз вытащат из кармана драгоценный конверт. Надо идти вдвоем, и получатель, под охраною своего товарища, выносит из толпы пять или много десять рублей ассигнациями. Теперь новая забота: ассигнация слишком крупна для издержек, надо ее теперь же разменять. Для этой цели мы обыкно-

венно заходили в трактир, что наискосок против почтамта, и там уже не требовали обычных трех пар, а съедали целую порцию чего-нибудь на целый двугривенный или на четвертак.

Рассказываю все эти мелочи для того, чтобы дать вам понятие, как лишения и нужда, давая цену избытку, воспитывали в нас способность умеючи распоряжаться своими средствами, отдавать в них себе отчет и, довольствуясь малым, быть счастливыми.

Впоследствии, с третьего и даже со второго курса мы, как сказано, стали богатеть и могли уже позволять себе некоторую роскошь, а именно, соединяя приятное с полезным, иной раз, как говорится, покутить не в одиночку, а всегда в товариществе, не забывая при этом излишек суммы употребить на приобретение любимых книг; так напр., будучи уже на втором курсе, я купил себе на французском языке «Эрнани» Виктора Гюго и на немецком «Фауста» Гёте.

Чтобы дать вам некоторое понятие о наших пиршествах и забавах, приведу два-три примера.

Пиршества, происходившие обыкновенно по ночам, разумеется, в известной уже вам комнате «Железного» трактира, состояли в умеренном количестве блюд, которые мы запивали пивом и мадерой или лиссабонским. Пили немного, но с непривычки чувствовали себя совершенно пьяными, может быть, по юношеской живости сочувствия к тем из нас, которые действительно хмелели от водки. Нас опьяняло веселье, болтовня, шум и хохот, опьянял нас разгул, и мы выносили его вместе с собой на улицу, не хотелось с ним расставаться и идти домой, чтобы заспать его на казенной подушке; надобно дать ему хоть немножко простору на свежем воздухе, вдоль «по улице мостовой». Разгоряченным головам нужно было чего-нибудь особенного, небывалого, надо, напр., прокатиться на дрожках, но не так, как катаются люди, а на свой особенный манер. И все мы, человек пять или шесть, должны разместиться порознь, и каждый садится верхом на лошадь, ноги ставит вместо стремен на оглобли, а чтобы не свалиться, руками ухватится за дугу, а сам извозчик сидит на месте седока и правит лошадей. И вот, при свете луны вдоль Александровского сада плетется гуськом небывалая процессия, оглашаемая хохотом и криками. Это, по-нашему, была пародия на «Лесного Царя» Гёте и на «Светлану» Жуковского.

Другой раз мы охмелели в воинственном расположении духа; мы были в мундирах со шпагою и с треуголкой на голове. Нам пришла счастливая мысль обревизовать будочников, исправно ли они сторожат при своих будках, и кто из них не сделает нам чести под козырек, подобающую нашему офицерскому чину, того колотить. Не знаю, сколько мы совершили опытов такого дозора, хорошо помню только вот что: каждый раз, как только кто из нас обидит будочника, тотчас же сунет ему в руку гривенник или пятиалтынный сердобольный Каэтан Андреевич Коссович, который тогда находился в числе нас. Разные курьезные подробности о нем прочтете в следующей главе.

Самый курьезный образчик наших кутежей я приберег к концу. Дело было зимою, в Николин день. Мы были при деньгах и вечером собрались в «Железном» повеселиться уже под моим председательством, так как я был тогда старшим нашего номера. Было нас человек пять, шесть, между прочими и два брата Езерские, Игнатий и Феликс, поляки, из люблинской гимназии; старший брат, Игнатий, отличался веселым нравом и находчивостью. Решительно не помню, как мы пировали и как сошли вниз по лестнице, чтобы отправиться домой.

Настоящая история начинается с этого пункта. Были ли мы действительно пьяны, или воображали себя пьяными, только мы чувствовали, что не можем ступить шагу по оледеневшему тротуару. На улице, в глухую ночь, ни одного извозчика. Кому-то из нас пришла счастливая мысль перебраться с грехом пополам, хоть ползком, на ту сторону мостовой к угольным воротам Александровского сада; там, по рыхлому снегу можно как-нибудь доплестись до ворот у Манежа, а оттуда рукой подать – университет. Но и по расчищенной дорожке сада было скользко, и мы догадались свернуть в сторону и направились по сугробам, погружая ноги в снег по самые колени. Такой способ переправы оказался очень удобен; он давал над-

лежащий устоя для поддержки всего корпуса, а если иной раз и свалишься, то на рыхлую постель снега. Направлялись мы, хорошо помню, от одного дерева к другому, цепляясь за сучья и стволы. Переправа совершалась, вероятно, долго. Нам было весело; мы кричали и пели песни. Затем уж не помню, как попали мы на передний двор университета, выходящий на Моховую. Нет сомнения, что мы во время своего странствования по снегам успели настолько отрезвиться, что могли бы хоть ползком взобраться по лестнице главного входа; но веселье, хохот, юный разгул до того нас опьянили, что нам казалось совершенно невозможным попасть наверх. Иные из нас, как сейчас вижу, карабкались даже по стене, чтобы вместо ступенек подняться таким образом до верхней площадки. Тогда, в качестве старшего между своими товарищами, я вменил себе в обязанность позаботиться о водворении их на место жительства. Посередине двора, перед главным входом, был высокий столб; на нем под навесом висел колокол, а от его языка вниз спускалась веревочка. Я добрался до столба и ударил в набат. Благоразумная мера оказалась действительно. Явилось несколько солдат из наших служителей, помогли нам взобраться по лестницам и благополучно уложили нас спать.

На другой день поутру, только что мы проснулись, началась расправа. Платон Степанович нас требует к себе каждого поодиночке, только братьев Езерских обоих вместе. Несмотря на суровый вид и резкость голоса, во всем его существе чувствовалось мне трогательное беспокойство, – точно он потерял какую дорогую вещь или очень нужную официальную бумагу и не может найти, чего ищет. До сих пор он считал меня самым примерным по благонравию студентом, и вот теперь не может верить, не может понять, чтобы я так преступно провинился. Он удивляется и жалеет меня. Разумеется, я сердечно раскаивался и вышел от него со слезами на глазах.

Не знаю, какой нагоняй дал он другим. Вероятно, значительно резче, чем мне, но братья Езерские составляли исключение по своим умственным и нравственным достоинствам, и нас очень интересовало, как их примет инспектор и как будет распекать. Он продержал их долго, конечно, жалел и стыдил их столько же, как и меня, наконец они являются в номер, – Феликс солидный и спокойный, как всегда, а Игнатий прыгает, кривляется и хохочет до упаду. «Ну что? что такое?» – спрашиваем его. – «Потеха!» – кричит он, а сам хохочет, передразнивая Платона Степановича: «А уж как я на вас надеялся во всем, уж так-таки во всем ставил я вас обоих в пример всем прочим студентам из Царства Польского; как же вам не стыдно, как не грешно изменить мне, обмануть меня такую неслыханною шалостью; да ведь вы, Игнатий, и старше других, и должны держать себя рассудительнее и благоразумнее своих товарищей». – «Да ведь это самое я и чувствовал тогда, – говорю ему, – и сколько мог воздерживался; вот и брат тоже; но что же нам было делать? Между русскими товарищами мы, поляки, находились в исключительном положении, и вы, Платон Степанович, на нашем месте не отказались бы от лишнего стакана: ведь вчера были именины государя императора, все пили за его здоровье, – как же нам-то, полякам, было отказываться от такого тоста!..» – Ну, по добру по здорову, и отпустил нас: «Довольно, убирайся с своим братом! Тебя не переговоришь никогда».

По старинному обычаю Платон Степанович в разговоре с нами употреблял и «ты» и «вы», смотря по расположению духа и по тому, с кем из нас и о чем была речь.

И подумайте только, что все это творилось в царствование императора Николая Павловича, знаменитое своей строгой дисциплиной, и безнаказанно спускались такие шалости, доходившие до решительного буйства! Нас не выгоняли, не отдавали в солдаты, и за пьяную никольщину, оглашенную набатом, никто из нас и в карцере не посидел. Платон Степанович только припугнул нас графом (этим нарицательным именем называли попечителя графа Сергея Григорьевича Строганова): «Ну, а что скажет граф, когда я ему доложу? Смотрите у меня, берегитесь!» Это была его обычная фраза и самая высшая угроза.

Чтобы ориентироваться в соседстве нашего студенческого общежития, я должен несколько познакомить вас с населением всех корпусов университетской усадьбы в преде-

лах Моховой, Никитской и Долгоруковского переулка, соединяющего эту последнюю улицу с Тверской. Платон Степанович занимал левое крыло главного корпуса, идущее по Никитской, но не все: часть его, с окнами на передний двор, отделенная коридором, служила квартирой секретарю правления Рагузину. Правое крыло, также разделенное коридором, вмещало в себе квартиры главного субинспектора Степана Ивановича Клименкова, который до Нахимова исправлял должность инспектора, синдика университетского правления Назимова и субинспектора Зайковского.

На заднем дворе длинный двухэтажный корпус, который тянется по Никитской до угольных ворот, выходящих на улицу против Никитского монастыря, был занят клиником и так называемыми кандидатскими номерами, в которых помещались ассистенты клиники и оставляемые при университете лучшие из кончивших курс кандидатов. Тут же была и квартира университетского священника, профессора богословия Терновского.

Надобно припомнить, что так называемая клиника на углу Рождественки и Кузнецкого моста еще составляла тогда самостоятельное учреждение под названием медико-хирургической академии, куда прием студентов был значительно легче и менее разборчив, нежели в университете.

Корпус, о котором я говорю, в то время не был перегороден поперечной пристройкою, так что между ним и садом был свободный проход от главного здания в ворота на Никитскую. Нам, студентам, доставляло особенное удовольствие избирать в летнюю пору именно этот путь. В стороне корпуса, ближайшей к главному зданию, в нижнем этаже тянулась открытая галерея; по ней любила прогуливаться взад и вперед очень красивая девица, стройная, белая и румяная, с роскошными русыми косами; и тут же на балконе обыкновенно сживал старичок, ее отец. Это был муж главной акушерки, по фамилии Армфельд, которая заведывала родильным отделением клиники, помещавшемся в этой части корпуса.

Ее дочь вскоре вышла замуж за профессора политической экономии Чевилёва, который был дружен с ее братом и вместе с ним воротился из-за границы в 1835 г. Молодой Армфельд был медик и получил в Московском университете кафедру истории медицины.

Подробности эти очень живо представляются мне потому, что они неразрывно связаны в моих воспоминаниях с двумя катастрофами, разразившимися через десятки лет потом в семье обоих этих профессоров.

Несчастливая девица Армфельд, сосланная в Сибирь по суду в политическом преступлении, была дочь этого самого профессора истории медицины. Чевилёв, оставив университетскую кафедру, занял довольно видное место в петербургской администрации. В конце 50-х годов с своим семейством – у него уже был тогда и сын лет 20 – проводил он лето в Царском Селе, занимая помещение в так называемом Софийском дворце, внизу города, за громадным царскосельским прудом. Однажды ночью в квартире его произошел пожар; загорелось в тех комнатах, которые составляли его кабинет и спальню. Пожару не дали распространиться, только пострадала спальня. На постели лежал обгорелый труп Чевилёва. По свидетельствовании оказалось, что он был предварительно полит керосином. Из кабинетного стола было похищено, не помню, десять или двадцать тысяч рублей. Следствие и суд были ведены в большом секрете. По городу ходили разные слухи, которые не хочу повторять. Что случилось с сыном Чевилёва, не имею никаких сведений. Вот какая злосчастная судьба постигла молодую особу, которая, гуляя по своей террасе, бывало, отвечала нам приветливою улыбкою, когда мы, проходя мимо, отвешивали ей усердные поклоны.

Позади сада, в котором, как сказано выше, мы гуляли и читали, между анатомическим театром и клиником стояла деревянная башня: ее верхняя часть имела вид садовой открытой беседки с крышею на столбах, или деревянной колокольни с пролетом. На месте большого колокола в этой беседке довольно часто в летнюю пору висел с перекладины человеческий скелет, кое-как связанный по суставам веревочками. Надобно вам знать, что в подвалах анатомиче-

ского театра был склад трупов для лекций по анатомии; из них выбирался один для скелета; служители-солдаты клали его в котел, вываривали кости, и потом для просушки вывешивали в пролетах башни, где обыкновенно сушилось солдатское белье.

На университетском дворе, направо, у самых ворот, выходящих в Долгоруковский переулок, стояло тогда невысокое каменное здание, которое было занято квартирою ректора университета, Болдырева, профессора арабского и персидского языков, очень доброго и всеми уважаемого. Он был тогда человек уже пожилой, очень любил молодого профессора эстетики Надеждина и дал ему помещение у себя, а Надеждин, в свою очередь, в одной из своих комнат держал при себе Белинского, впоследствии ставшего знаменитым критиком, а тогда не более как студента, который, не кончив университетского курса, был сотрудником и правою рукою Надеждина, издававшего в то время журнал «Телескоп». Особенное удобство для этого издания состояло в том, что оно тут же, в стенах этого корпуса, и подвергалось цензуре, так как ректор Болдырев был вместе и цензором.

Однажды вечером приходим мы в «Железный», опрометью бежит к нам Арсентий и вместо трех пар чаю подносит нам номер «Телескопа». «Вот, – говорит, – вчера только что вышел: прелюбопытная статейка, все ее читают, удивляются; много всякого разговора». Это была знаменитая статья Чаадаева. Мы, разумеется, тотчас же принялись ее читать. С того времени и до сих пор мне ни разу не случилось перечитать ее вновь, но помню и теперь из нее одну только фразу: «Россия приняла христианство из рук растленной Византии».

Дней через десять после этого у нас в номерах разнесся слух, что «Телескоп» запрещен, и что ректору и Надеждину грозит великая беда. Я пользовался расположением субинспектора Степана Ивановича Клименкова и его жены Ольги Семеновны, и был к ним вхож. Чтобы разузнать подробности дела, лучше всего было обратиться к ним. Ольга Семеновна страшно взволнована, в слезах; говорит, сама захлебывается, жалеет Болдырева, негодует на Надеждина, называет его предателем, злодеем. Она была очень дружна с Болдыревыми, да и кроме того отличалась горячим и чувствительным до раздражения темпераментом, и теперь как было ей не раздражиться донельзя, когда сама она была свидетельницею преступления, которое вконец погубило ее друзей. Поуспокоившись немножко, вот что она мне рассказала. Дня за три до выхода в свет той книжки «Телескопа», они и Рагузина вечером играли в карты с Болдыревым. Болдырев очень любил по вечерам отдыхать от своих занятий, с большим увлечением играя по маленькой с дамами. В этот вечер Надеждин не давал им покоя и все приставал к Болдыреву, чтобы он оставил карты и проценировал в корректурных листах одну статейку, которую надо завтра печатать, чтобы номер вышел в свое время; но Болдырев, увлекшись игрою, ему отказывал и прогонял его от себя. Наконец, согласились на том, что Болдырев будет продолжать игру с дамами и вместе прослушает статью, – пусть читает ее сам Надеждин, – и тут же, во время карточной игры, на ломберном столе подписал одобрение к печати. Когда статья вышла в свет, оказалось, что все резкое в ней, задирательное, пикантное и вообще не дозволяемое цензурою, при чтении Надеждин намеренно пропускал. Зная, с каким увлечением по вечерам играет в карты Болдырев с своими соседками, Надеждин умышленно устроил эту проделку.

Не замедлила из Петербурга и грозная резолюция по этому делу: Болдырева как дурака отрешить от службы, Надеждина как мошенника сослать из Москвы, а Чаадаева как сумасшедшего держать под строгим надзором, приставив к нему двух полицейских врачей для наблюдения за его здоровьем. Это сведение мне сообщила та же Клименкова.

III

Дружеские отношения, скрепляемые общими интересами, согласием в идеях и стремлениях, взаимною симпатиею. даже самую привычку жить сообща, преимущественно ограничивались тесным кругом товарищей нашего номера. До известной степени все это несколько обуславливалось возрастом и временем совместного пребывания в номере, то есть, или четыре года целого курса, или один, два года.

При нашем поступлении в университет для философского факультета был курс трехгодичный, а для медицинского – четырехгодичный; прибавка еще года на тот и другой факультет началась именно с нас, так что в 1837 г. выпуска студентов из университета вовсе не было, и потому оба последние года мы были студентами старшими и на третьем курсе, и на четвертом.

Вступив в общежитие нашею номера, я застал нем двух студентов третьего курса, Шпака и Павловского, и нескольких второго и первого. Все они были словесного отделения, за исключением того математика, который, помните, ссужал нас свечами. Из моих близких друзей и товарищей все были словесники.

Отношения мои к двум студентам третьего курса ограничивались почтительностью с моей стороны и большею или меньшею снисходительностью с их стороны. Шпак, из варшавской гимназии, был довольно любезен со мной, говорил о своих ученых работах; я питал к нему большое уважение, узнав от него, что он переводит с латинского и польского разные исторические документы для одного русского вельможи, Муханова, находящегося в Варшаве, который издает свое сочинение о Самозванце и о Смутном времени. Другой третьекурсник, по фамилии Лавдовский, не помню хорошенько, из Вологды или Костромы, – из семинаристов и говорил на о. И по наружности, и по нраву он походил на Собакевича; я его очень уважал и побаивался, и относился к нему, как ученик гимназии к учителю. Особенное, так сказать, благоговение питал я к нему за то, что он перевел с немецкого все три тома Августа-Вильгельма Шлегеля о драматической поэзии, по указанию профессора Ивана Ивановича Давыдова, который потом и поместил этот перевод в третьем томе своего курса словесности.

Когда, по окончании курса, я поступил младшим учителем русского языка во вторую московскую гимназию, там застал Лавдовского уже старшим учителем словесности, и некоторым образом официально подпал под его начало. Моя робость перед его авторитетной суровостью не изгладилась и тогда, когда я, возвратившись через два года из Италии в Москву, в 1841 году, однажды встретился с ним на улице. «Ах, здравствуйте, – говорю я, – очень рад вас видеть». «Чему же вы радуетесь?» – спрашивает он. – «Конечно, – отвечаю ему, – нечему особенно радоваться...» Так и разошлись.

Особенно обязан я в умственном развитии и успешном занятии учебными предметами влиянию и содействию двух товарищей, которых я застал на втором курсе: оба они были поляки и оба поступили в университет из полоцкого коллегиума. Это были Класовский и Коссович.

Владислав Игнатъевич Класовский с ранней молодости получил солидное образование. Кто были его родители, я не знал, но детство свое до шести или семи лет он провел в женском монастыре у своей тетки, монахини; она была француженка и говорила с ним всегда только по-французски. – потому он отлично знал этот язык. Затем его взял к себе в мужской монастырь его дядя, который с ним говорил большею частью по-латыни, что дало ему отличную подготовку для изучения римских классиков. Последние года два обучения в полоцком коллегиуме он жил на квартире один, в одном доме с Коссовичем. Это, как мне кажется, было какое-то надворное строение очень малых размеров; внизу была квартира Коссовича, выходившая в сени, и тут же из сеней была лестница на чердак, по которому надо было сделать несколько шагов, чтобы попасть в маленькую каморку, в которой приютился Класовский. Эти подроб-

ности нам пригодятся, чтобы нагляднее представить себе один курьезный случай, о котором будет сказано в своем месте.

Если в первые два года моего пребывания в университете я значительно успел во французском и латинском языках, то этим я обязан Класовскому. Не знаю почему, он особенно полюбил меня и сошелся со мной ближе, чем с кем-либо другим из русских студентов. Все, что задавалось из классиков на лекциях латинского языка, он прочитывал со мною, заставляя меня переводить и объясняя текст грамматическими и реальными комментариями. Иногда, работая над *Виргилием* или *Горацием* за своим столиком, я наталкивался на какое-нибудь затруднение и тогда перекликивался с ним через весь номер, как перевести или понять такую-то фразу, а он сидит в другом углу тоже за своим столиком и отвечает оттуда наизусть целым стихом или двумя стихами, где стоит затрудняющее меня выражение, и переводит целое место.

По-французски он читал со мной из «Германии» мадам Сталь, и весь роман Виктора Гюго «*Notre-Dame de Paris*». Во французском я успел настолько, что, будучи на втором курсе, мог уже осилить один, без помощи Класовского, «Историю цивилизации Европы» Гизо.

Сверх того, он упражнял меня в польском на чтении стихотворений Мицкевича. Я и до сих пор помню некоторые выученные мною тогда наизусть стихи, напр., из «Крымских сонетов» или из поэмы «Деды».

Этими уроками польского языка ограничивалась для меня тогда вся область славянских наречий, потому что этот предмет еще не введен был при нас в университетское преподавание, и только на четвертом курсе читал нам Каченовский историю славянских литератур по книге Шафарика.

Влияние Класовского на меня не ограничивалось обучением языков. Он любил со мною беседовать подолгу о разных интересующих меня вопросах философии, религии и так называемой морали; это бывало обыкновенно по вечерам, в сумерки, когда мы вместе с ним взад и вперед гуляли по длинному коридору нашего общежития. Он не высказывал прямо и решительно своих убеждений, но умел ловкими намеками и извилистыми путями доводить меня до того пункта, который назначал он своею целью. Его, очевидно, забавляла моя наивность, и ему было интересно производить надо мною опыты сознательного уразумения добра и зла, и он до некоторой степени успел бросить в смутное брожение моих понятий первые искры свободомыслия. Получив раннее воспитание в двух католических монастырях, мужском и женском, он был плохой католик и потому не затрагивал моего православия. Он был материалист, поскольку это было возможно в эпоху романтизма, и о высших предметах духовного мира отзывался слегка, впрочем, не оскорбляя моей религиозной совести. Как бы то ни было, но в душе моей совершился резкий переворот, которым отделяется беззаботная юность с ее безотчетными помыслами от того возраста смелых порывов мысли и неудовлетворяемых желаний, который я назвал бы периодом бури и стремления (*Sturm und Drang*), как немцы характеризуют свою литературу второй половины XVIII века.

Я был тогда уже на втором курсе. Товарищи видели мою дружбу к Класовскому; она была так сильна и постоянна, что ее не мог не заметить даже и Коссович, который по своей рассеянности не обращал внимания решительно ни на что его окружающее. Однажды, не знаю по какому поводу, он сказал мне с обычным своим добродушием: «А ты полагаешь, Класовский не верит ни в Бога, ни в черта? А я тебе скажу, что он самолично видел черта, и я был при этом свидетелем. Это было месяца за два до нашего поступления в университет; мы жили тогда в Полоцке, вместе, в одной хибаре, я внизу, а он на чердаке. Раз ночью меня разбудил страшный стук и крики, раздававшиеся сверху. Очнувшись, слышу голос Класовского. Он зовет меня, а сам причитает: «Ай, ай, дьявол, спасите меня! О, Господи, *Jesus-Maria!*» Я бросился к нему на чердак, и только что влез по лестнице, наткнулся на что-то мягкое и косматое. Это был козел. Я увидел из мрака темное очертание козлиной головы с рогами, которое обрисовывалось в полусвете окна из растворенной двери, а Класовский все бесновался и звал меня на помощь.

Я вбежал в его комнату и насилу успокоил его. В тот день хозяин купил козла, чтобы по ночам он оберегал лошадей. Козел, на незнакомом еще ему дворе, вместо конюшни, забрел через отворенную дверь к нам в сени, а оттуда, по своей привычке лазать, попал на чердак. Теперь видишь, что Класовский верует в черта, а кто верует в чертей – верует и в ангелов».

Класовский был самого нервного темперамент и, можно сказать – женоподобного, в котором раздражительность соединяется с деликатной мягкостью. И в наружности он отличался женоподобием. По нежной, как бы прозрачной белизне лица его то и дело вспыхивал легкий румянец, при малейшем движении чувства; самые волосы его, светло-русые, очень редкие и как бы рассыпчатые, до того были мягки и нежны, как шелковые пряди, что при всяком движении головы меняли свое место и болтались, как бахрома, спускаясь на виски и на большой и широкий лоб. Эти растрепанные космы соответствовали, казалось мне, растрепанности блуждающих помыслов его горячий, беспокойной головы. Роста он был среднего, худощав, необыкновенно жив в движениях, но без всякой угловатости; вообще личность далеко не дюжинная, богатая внутренним содержанием, то неотразимо привлекающая, то вовсе неожиданно отталкивающая, именно из таких натур, которые более обречены на то, чтобы волноваться и страдать, а не радоваться и спокойно наслаждаться жизнью.

Когда я переходил со второго курса на третий, он, по выдержании экзамена на кандидата, оставил университет и отправился куда-то далеко от Москвы учителем гимназии, где и прослужил все шесть лет, обязательные для казеннокоштного студента. В течение всего этого времени я с ним не видался.

Когда, по возвращении из двухлетнего пребывания моего в Италии, я получил место учителя русской словесности в старших классах третьей московской гимназии по ее реальному отделению и жил у графа Сергея Григорьевича Строганова в доме князя Гагарина (ныне Бутурлиных) на Знаменке, против Александровского военного училища, Класовский перебрался в Москву и был назначен младшим учителем русского языка в той же гимназии. Наше положение значительно изменилось. Я возмужал, многому научился, работая самостоятельно в Неаполе и в Риме, и всего насмотрелся вдоволь; а он остался тем же, чем был, в неподвижной обстановке провинциального захолустья; он как-то сократился на мой взгляд, присмирел и глубже ушел в себя. Впрочем, потерянное равновесие прежней дружбы и товарищества, по видимости, мало изменило наши старинные отношения, которые мы все же продолжали скреплять товарищеским «ты».

Он поместился очень удобно, около самой гимназии в Варсонофьевском переулке, с Лубянки на правой стороне, в длинном, невысоком, двухэтажном каменном доме, который весь был занят меблированными комнатами, разделенными на отдельные номера, с большою общею залою в верхнем этаже, для всех живущих по номерам. Это было нечто вроде так называемых пансионов. Тут квартировали учителя разных учебных заведений, гувернантки и учительницы, а также окончившие курс кандидаты и действительные студенты. Дамы жили в верхнем этаже, мужчины – в нижнем. Все они в общую залу собирались обедать, а по вечерам отдохнуть от своих дневных трудов и занятий, поболтать между собою, веселиться, а иногда и танцевать, так как тут было и фортепиано. Между живущими были артисты и артистки. Ежедневно придавали они этим вечерним собраниям разнообразие и новый интерес пением и игрою на инструменте. И мне случалось бывать на этих танцевальных и музыкальных вечерах, когда я навещал Класовского. В собраниях этих слышались звуки более иностранных языков: немецкого, французского, польского, нежели русского.

Так продолжалось никак не больше полугода. Класовский будто скучал, стал молчаливее и раздражительнее. Его уныние я объяснял себе тем, что он недоволен своим положением младшего учителя в гимназии.

Однажды, очень рано поутру, меня разбудил и переполошил мой товарищ по университету, Каменский, который квартировал в том же пансионе. Он бросился ко мне поскорее

сообщить о великой беде, постигшей Класовского, с тем, чтобы я до девяти часов утра успел передать о ней графу и таким образом предупредить официальное донесение от обер-полицеймейстера или от директора гимназии. Вот что случилось с Класовским. Он влюбился в одну из девиц пансиона; осталось неизвестным, пользовался ли он ее взаимностью. Равнодушие ли этой особы к нему или ревность, или что другое довело его до отчаянного поступка, только в эту ночь он решился застрелиться. Каменский, сообщая мне о катастрофе, выразил свое недоумение, как соседи Класовского по обеим сторонам его номера могли к нему ворваться в самый момент стрельбы из пистолета и как спасли его от самоубийства: дал ли пистолет осечку или не попал в цель, но во всяком случае по следствию оказалось, что дверь от Класовского в коридор была не заперта, а только изнутри загорожена мебелью.

В половине девятого, когда граф имел обыкновение пить кофе, я к нему явился и передал сообщенное мне Каменским. «Эх! Все одно и то же, обыкновенная история; вечно польские фокусы!» – сказал граф и поручил мне позвать к нему самого Класовского. Я узнал потом, что граф обошелся с ним снисходительно и тогда же порешил поместить его учителем детей графа Чернышова-Кругликова, отправлявшегося вскоре за границу на два года.

Класовский жил тогда долго в Италии и давал мне о себе весть подарками; так, он прислал мне из Рима очень хорошенький пресс-папье из черного мрамора с мозаическим изображением Св. Петра, с Ватиканом и площадью. Эта вещица как дорогое воспоминание до сих пор у меня в кабинете на столе. Кроме того, оттуда же он внес в мое собрание гравюр очень любопытную итальянскую карикатуру на характеры и нравы XVIII века.

По возвращении в Россию, он основался в Петербурге; вскоре издал очень дельное описание Помпеи с рисунками и небольшую монографию о характерах и физиономии. Тогда же получил место учителя в Пажеском корпусе, а вслед за тем в продолжение нескольких лет был преподавателем русского языка и словесности детям великой княгини Марии Николаевны; в конце пятидесятых годов, он преподавал те же предметы и покойному цесаревичу Николаю Александровичу в объеме гимназического курса.

В это время я был вызван в Петербург Яковом Ивановичем Ростовцевым, по поручению которого я тогда изготовлял мою «Историческую Грамматику» и большую «Историческую Хрестоматию» для пособия учителям военно-учебных заведений и, разумеется, навещал Класовского. Он только что женился на миленькой немочке, белой и румяной толстушке. Она показалась мне очень доброй и изящно-простой в обращении. В ее отсутствие я передал Класовскому приятное впечатление, произведенное на меня его женою; он мне на это ответил, что главное достоинство состоит в том, что у нее нет ни души родных; был отец, да и тот, возвращаясь однажды со службы, пропал без вести.

Разговаривая с ним о русской литературе, мы коснулись XVII века, когда она сильно подчинена была польскому влиянию. Я ему, между прочим, сказал; «Вот вам бы, Владислав Игнатьевич, заняться этим периодом; вам, конечно, коротко знакома польская литература того времени». Мы в то время уже друг другу «выкали», называя друг друга по имени и отчеству. «Почему это вы так думаете?» – отвечал он вопросом. – Вы это сделаете гораздо лучше моего, я и по-польски ничего не понимаю. Да вот еще что я хотел вам заметить: вы забыли, как меня зовут. Ведь я не Владислав, а Владимир». – «Вот тебе на!» – подумал я. С тех пор я не видался с ним до декабря 1859 года, когда я вызван был в Петербург преподавать историю русской литературы покойному цесаревичу Николаю Александровичу.

Разумеется, я не замедлил обратиться к Класовскому за получением сведений о степени познаний цесаревича в русском языке и словесности, для того чтобы в строгой последовательности завершить гимназический курс, пройденный его высочеством, своими лекциями в подлежащем объеме университетского преподавания.

В течение всего 1860 года я виделся довольно часто и с Класовским, и с его женою, принимал участие в их семейных интересах, а через несколько лет по возвращении в Москву я

получил письменное известие от жены Класовского о его смерти, с приложением выдержки из газет, где помещено надгробное слово его духовника. В этом слове в умиленных выражениях было высказано, каким примерным, глубоко верующим христианином окончил он свою жизнь. Мир его праху и тревоженной душе!

Теперь пора воротиться нам к нашему студенческому общежитию. Каэтан Андреевич Коссович представлял собою самую резкую противоположность Класовскому. Это была натура цельная, наивная, или, как говорится, непосредственная, в себе самой сосредоточенная, всем довольная, но без малейшей тени личного эгоизма, натура счастливая, наделенная благодатной способностью не ведать зла, не понимать возможности его существования. Константина Дмитриевича Кавелина, бывшего профессора Московского университета в сороковых годах, товарищи называли «предвечным младенцем»: этот почетный титул с большим еще правом мог бы носить Каэтан Андреевич.

Он был великий чудак. Большого оригинала мне никогда не случалось знать. В Петербурге слыл за курьезного оригинала Костомаров, но его чудачество было более или менее сознательное, и мне самому случалось лично от него слышать о его собственных оригинальных выходках. Коссович был вполне бессознательный чудак. Все в нем было не так, как у других. Он не обращал никакого внимания на мелочи обыденной жизни. Он их не презирал, но они сами проходили мимо него, не нарушая его, так сказать, олимпийского самодовольствия: этот эпитет, впрочем, и не будет при его особе фразой, потому что в то время он постоянно витал на высотах Олимпа, погруженный всецело в чтение римских и греческих классиков. Он углубился в это дело без всякого предварительного плана, без всякого обдуманного намерения. Удовольствие, беседовать с классиками, проводить в их сообществе целые дни само собою, без его личной воли, увлекало его, и он, прочитав одного классика, тотчас же брал другого, и таким образом с беспримечной неутомимостью перечитал их всех до одного по изданиям, какие мог он найти в нашей университетской библиотеке. Когда я поступил в университет, он доканчивал чтение латинских авторов, и все остальное время пребывания в университете употребил на чтение греческих.

Сосредоточенность Коссовича была изумительна. Книга всегда у него в руках: то сидит он за своим столиком, согнувшись над книгой, а сам покачивается, то вдруг вскочит, но не отнимая глаз от читаемой страницы, ходит взад и вперед по номеру с своей книгой, то медленно, чуть шагая, то остановится, то вдруг побежит, натываясь на проходящих. Особенно забавно было смотреть на него, когда он, бывало, носился взад и вперед с каким-нибудь огромным фолиантом, иной раз весом до полупуда. Однажды случился вот какой курьез. С таким фолиантом он поместился на нашем большом диване, положил его вместо подушки, а сам лег ничком и читает, ногами подрагивает и весь как бы сотрясается и бормочет: должно быть, этими судорогами он отбивал себе такт, читая стихи. Вместе с ним сотрясался и фолиант и понемножку скатывался с дивана, а Коссович, ухватившись за него обеими руками, продолжал чтение: но фолиант вдруг скатился на пол, а вместе с ним скатился и сам Коссович, безостановочно продолжая свое чтение и растянувшись тоже на полу.

Я с ним был дружен и он любил меня, впрочем, кого же он мог не любить? – но я принадлежал к тому тесному кружку товарищей, в удовольствиях которого он принимал участие, как я уже раз упомянул вам об этом. В моих занятиях он принес мне не малую пользу, объясняя затруднения при чтении греческих классиков. Сверх того, впоследствии, когда оба мы уже вышли из университета, в начале сороковых годов, он же учил меня по-санскритски. Тогда этот язык сделался ею главной специальностью.

Будучи профессором этого предмета в Петербургском университете, он с обычным своим увлечением предался изучению и других восточных языков, между прочим, и арабского, и женился на аравитянке в тех видах, чтобы иметь случай постоянно говорить с нею на ее род-

ном языке. Я лично не знал ее и передаю, что мне рассказывали. *Se non e vero, e ben trovato.* (Если это и не правда, то хорошо придумано (ит.).)

Из моих товарищей по первому курсу расскажу вам только о двоих: о Новаке, который уже года за два до меня сидел в университете, и о Н. В. Еленеве, поступившем в одно время со мною.

Новак (по имени никогда его не называли, – так он и слыл у всех только Новаком) был, по его словам, венгерец, учился в Воспитательном доме, в мужском институте, теперь давно уже закрытом. Росту был маленького, нрава спокойного и веселого, большой забавник и балагур и вместе человек положительный, равнодушный к так называемому миру идей; не придавал большой цены познаниям и наукам и с снисходительным презрением относился к тем, кто тратит время на такие пустяки. Понятно, что мы были ему не под парю, и он не любил с нами водиться. Он сильно испивал и выбрал себе товарища по душе между медиками из семинаристов, по фамилии Холуйского. Это был парень лет двадцати пяти, долговязый и сухопарый. Худоба этого верзила особенно бросалась в глаза благодаря его чрезмерной высоте, которая на глазомер увеличивалась еще и тем, что мы его постоянно видели под парю с маленьким Новаком, казавшимся тогда уже совсем карликом. Когда, по окончании курса, Холуйский был командирован в качестве военного врача куда-то далеко на Кавказ, о нем ходила у нас легенда, будто он имел обычай, вместо лошади, выезжать из крепости не иначе, как на верблюде верхом, чтобы не волоклись по земле его длинные ноги.

Оба они брезговали всякими мадерами и сотернами и кроме водки ничего не пили. Бывало, когда нам случалось вместе с ними выходить из университета, направляясь в «Железный» трактир, оба они оставляли нас на полудороге, повертывая в находившийся по пути кабак или полпивную. Странное дело: мы видели, что это вовсе не хорошо, однако, как будто им и завидовали, что они могут делать то, чего мы опасались, и даже относились как бы с уважением к их молодечеству.

Платон Степанович хорошо знал, что Новак порядочно испивает, и часто журил его, но относился к нему милостиво и даже любил его, т. е. уж очень жалел и старался его исправить. Ему нравился веселый и разбитной нрав Новака и искреннее, как ему казалось, даже слезное раскаяние и обещание исправиться. Призывая его к себе, Платон Степанович встречал его словами: «Опять пьян, смотри у меня!» (Он всегда говорил Новаку «ты»), – «Никак нет-с, Платон Степанович, ни росинки во рту не было». – «Ну-ка, подойди, дыхни на меня». И затем начинается длинная процедура дыхания или выдыхания. Новак никак не может широко раскрыть свой рот, а если и раскроет, не дышит как следует, явственно, – точно сказочный дурак, которого яга-баба сажает на лопату, чтобы бросить в пылающую печь, а он не умеет на лопате усесться. К таким рассказам о себе Новак обыкновенно прибавлял: «Этот опыт проделывал со мною Платон Степанович всегда натошак, а после обеда никогда, потому что, как известно, и сам любит выпить, и стало быть, моего духу не расчухает». Раз Новак нас потешил такой, очевидно, выдумкой, будто он явился к Платону Степановичу совсем пьяный, лыка не вяжет, и на его вопрос: «Ну, чем же ты натрескался, пьяница этакая?» – «Да только сладкой водочкой», – будто бы отвечал Новак, желая как бы смягчить свою вину. – «Эх ты, гольтьба! Пил бы, по крайней мере, простую сивуху». – «Он, – присовокупил Новак, – так выразился, должно быть, не потому только, что сладкая водка мне не по карману, а и потому, что она не полезна для желудка, как ему самому хорошо известно по опыту».

В видах нравственного исправления Новака, Платон Степанович заботился о его религиозной совести в исполнении православных обрядов; потому внимательно следил, чтобы он посещал церковную службу. Новак пораньше заберется в церковь и непременно как-нибудь юркнет в глаза Платону Степановичу, как только он появится, а затем тотчас же уходит. Однажды, возвращаясь от всенощной, Платон Степанович на углу университета столкнулся с Новаком, который, переходя Моховую, направлялся к университету. Инспектор поймал сту-

дента с личным и, не говоря ни слова, потащил его к себе в кабинет. – «Так-то ты молишься за всенощной! Ну, говори, пьяница, где ты был?» «Я был на Никольской, в греческом монастыре: там уж очень умильно служат и поют хорошо». – «А от своей православной всенощной ушел?» – «Помилуйте-с, Платон Степанович, ведь и греческое служение такое же православное, как и наше: и равноапостольного князя Владимира обратили в крещеную веру греческие священники, и Кирилл и Мефодий с греческого же перевели нам на церковный язык и обедню, и всенощную». – «Полно врать-то про свою ученость и ступай вон».

Так рассказывал нам Новак; но мы мало придавали веры его рассказам. Вообще надо заметить, что в анекдотах о Платоне Степановиче много было выдуманного и баснословного; но в них была и значительная доля правды, которая вымышленные подробности всегда освещала одной и той же идеею. Мы, старые студенты Московского университета, в своем милом Платоне Степановиче видели как бы воочию эпического героя русских былин и высоко ценили в нем подвиги благодушия, милосердия и снисходительности, которыми он в своей простоте и наивности мог достигать того, что недоступно суровому правосудию с его крутыми мерами.

Несколько лет никому из нас не было известно, что случилось с Новаком по выходе его из университета, разумеется, в звании только действительного студента; но во второй половине сороковых годов он очутился в Москве и стал показываться своим университетским товарищам, но уже в рабьем образе крайней нищеты: на нем была изодранная офицерская шинель и военная фуражка. Он просил подавания, упорно оставаясь в передней. Сначала мы давали ему по рублю, он тотчас же пропивал; стали давать меньше – и это тащил в кабак. Потом мы узнали, что он на улице попал под экипаж и был взят в больницу, где и помер.

Вместе со мною поступил в университет и был принят в студенческое общежитие Еленев. Это был юноша моих лет, а, может, годом и постарше, и несколько выше меня ростом; белый и румяный, с большими глазами навывкат и с полными, сочными губами, а над ними показался уже пушок народившихся усиков. Юноша пухлый и не то чтобы дряблый, а скорее женоподобный, и голос у него был нежный: он мог бы петь тенором. К таким бывают благосклонны энергичные дамы, которые любят покровительствовать и распоряжаться по своему... Подобные типы Жорж Занд нередко выводит в своих романах. Еленев потому интересовал меня, и я не раз вызывал его на признания о его сердечных делах, но он всегда отмалчивался и заводил речь о другом предмете. Он напоминал мне счастливого пажа в рыцарских романах, который, пользуясь благосклонностью прекрасной хозяйки замка, упорно хранит свою тайну, но не столько потому, что он великодушен и скромн, а потому, что смертельно боится, как бы чего не узнал ее муж.

Науками Еленев интересовался мало и не любил углубляться мыслями во что-нибудь серьезное, зато очень любил романы и читал их с увлечением. В этом отношении он оказал некоторое влияние и на меня, и я познакомился тогда с произведениями Вальтера Скотта в русском переводе, кажется, Шапплета. Из области свободных искусств он особенно предпочитал бильярдную игру, и в этом деле был большой мастер. Бывало, как только улучит свободную минуту, катает себе шары в бильярдной, в том же «Железном» трактире. Студенческий вицмундир на нем всегда в мелу, будто у математика, который трется у своей черной доски, выводя на ней мелом математическую задачу. Бильярдная страсть до того врезалась во все существо его, что где бы он ни был – в комнате, на улице, в аудитории, даже в церкви, он всегда с бильярдной точки зрения вглядывался в предметы, когда они случайно оказывались расставленными, как шары на зеленом поле бильярда, и прицеливался воображаемым кием, чтобы ударить одним предметом в другой. Особенно соблазняли его изображение головы людей, по своей округлости больше всего подходящие к бильярдному шару. Однажды, во время экзамена, в аудитории, я сидел с ним рядом на передней скамейке; за столом, близ кафедры, сидели экзаменатор, его ассистент, Голохвастов, который был помощником попечителя и при графе Строганове, и четвертый – Платон Степанович Нахимов. Еленев сидит

неподвижно, весь выпрямился, а сам поднимет обе руки к правому глазу и опустит, поднимет и опять опустит. Я его спрашиваю: «Что ты делаешь? Глаз что ли у тебя болит?» А он мне совсем серьезно: «А вот я прицеливаюсь, что Платоном Степановичем положить в лузу Голохвастова».

Между мною и Еленевым не могло возникнуть искренней, настоящей дружбы, но мы были хорошими товарищами. Нас связывала обоюдная польза. Я ему помогал в лекциях и при-готовлении к экзамену, а он сблизил меня с семейством Клименкова, который был ему земляком, из Смоленска, и давал ему постоянно приют у себя в квартире, так что Еленев большую часть времени проводил не в номере, а у Клименковых, и я туда часто приходил к нему.

По своей специальности Степан Иванович Клименков был медиком очень искусным и имел большую практику; состоял в должности главного субинспектора, он был вместе и врачом студенческой больницы, для которой была отведена особая камера при клинике. Во втором семестре первого курса я опасно захворал горячкою и пролежал в больнице около месяца. Клименков вовремя захватил мою болезнь и заботился обо мне, как о родном; а когда я, выздоровев, быстро стал подрастать, – любовался на меня и говаривал, что моя болезнь была к росту. Когда явился к нам инспектором Платон Степанович, Клименков рекомендовал ему меня как хорошего и благонаправленного студента. Тогда он был еще совсем молодой человек и недавно женат. Деятельность его была невероятная: вечно суетится, то в аудиториях, то у нас в номерах, то в студенческой больнице, а между тем рыщет по всей Москве, посещая своих больных, а вечера, чтобы отдохнуть от своих трудов и занятий, обыкновенно проводил в клубе за картами. Он был человек очень добрый, ласковый, и студенты его любили.

О его жене, Ольге Семеновне, я вам уже говорил по делу о Чаадаеве, Надеждине и Болдыреве. Тогда ей было около двадцати лет. Это была особа очень красивая, в полном цвете свежей молодости, белая и румяная, – как говорится, кровь с молоком; росту была небольшого, как раз под пару своему мужу, который был невысок. Я вам уже говорил о ее нервном темпераменте и о ее склонности принимать живейшее участие во всех, кого знает. Каждое движение сердца отражалось в чертах ее лица: то побледнеет, то вспыхнет густым румянцем, а то вдруг зальется горькими слезами. Я мог несколько познакомиться с ее характером потому, что и она, как и ее муж, ласкала меня, обращалась не как с чужим и любила со мной иногда побеседовать вечером. Мне случалось оказывать ей и некоторые услуги.

Когда я возвратился из-за границы, Еленев был уже учителем гимназии в одном из губернских городов. Там он вскоре и женился, и женился на такой красавице, какую редко мне случалось и видывать. Он обладал тонким вкусом в женской красоте, и за то был награждаем вниманием прекрасного пола. Потом в том же городе он променял учебную службу на гражданскую, был чем-то вроде советника какой-то палаты или правления и повышался в чинах, благодаря влиянию своей жены.

Когда мы перешли на второй курс, в наш номер прибыло студента два-три из только что поступивших в университет. Между ними я нашел себе отличного товарища, который потом сделался моим истинным другом. Это был Войцеховский, из Литвы, хотя и первокурсник, но постарше меня: он уже брился. Бывают люди такого нежного сердца, которым на роду написано любить преданно и неизменно до той крайней степени самоуничужения и верноподданности, какая доступна только сердцу женщины. Войцеховский принадлежал именно к разряду таких друзей. Так как некоторые лекции читались младшим курсам вместе со старшими, то вдвоем с Войцеховским мы составляли лекции, учились и читали. Поступив в университет, он знал уже по-еврейски и стал меня учить этому языку. И теперь еще помню из его уроков первый стих книги Бытия: «Бреши́т бара элогй́м эт гашамаин бет гаарец».

Наше близкое товарищество не ограничивалось учеными занятиями. Войцеховский был моим неразлучным спутником во всех забавах и веселых похождениях, неизменно вместе со мной сидел за трактирным столом при трех парах чаю, вместе с ним мы лакомились какой-

нибудь вкусной порцией, и он, как старше меня и опытнее, позволял себе тогда рюмку водки. Оба мы были не избалованы роскошью, и такие исключения в продовольствии доставляли нам истинное наслаждение. Никогда не забуду одной наивной сцены, которая и теперь отзывается во мне чем-то трогательным. Войцеховскому некоторое время нездоровилось, он похудел; к тому же дело было перед экзаменом, и мы с ним много работали. Не помню, у кого из нас в кармане был достаточный капитал для хорошей, дорогой порции. «Пойдем, – говорит он, – закусим чего-нибудь поплотнее: я отощал и похудел, надо хорошенько подкрепиться». Приходим в «Железный», спрашиваем себе раковый суп – блюдо, которое, по понятиям Войцеховского, преимущественнее других придает силу, свежесть и полноту. Такое же действие он приписывал и рюмке водки. Итак, сначала он выпил рюмку водки, а потому вместе принялись мы уписывать раковый суп. Во время еды вдруг он остановил меня: «Погоди немного», – говорит, а сам сжал свои толстые губы, отчего несколько надулись его щеки, и, помолчав немного, спрашивает меня, – «посмотри-ка мне в лицо; кажется, я уж немножко пополнел», – и опять сделал такую же мину, поглаживая и осязая пальцами обе свои щеки. «Постой, что-то не разберу, – отвечаю я, – ты сжал губы и задержал дыхание: оттого, может, и разболело твое лицо, а ты открой-ка маленько рот». Он несколько раздвинул свои губы, и я с удовольствием заметил ему, что он и вправду будто немножко пополнел.

В наших разгульных похождениях был он неоцененным товарищем. Собираясь кутить, мы заранее гордились возможностью охмелеть настолько, что не будем в состоянии вести себя как следует и непременно растеряем из кармана деньги, и потому все их отдавали ему; а он, как бы пьян ни был, аккуратно берег наш капитал и в точности расплачивался, сберегая всякую копейку.

В сороковых годах, когда я жил у графа Строганова, Войцеховский был уже учителем гимназии в одном из ближайших в Москве губернском городе. Мы с ним переписывались, и он в письмах продолжал упражнять меня в еврейском языке, посылая мне свои грамматические замечания на еврейские тексты. Тогда я читал псалмы Давида. Бывало, начнет письмо всякой всячиной, и затем вдруг переходит к еврейской грамоте. Некоторые из его писем, как дорогое воспоминание, хранятся у меня и до сих пор.

Он с пылкой страстью предавался тому, что изучал или просто читал. Он так же сердечно относился к книге и вообще к миру идей, как он отнесся бы к любимой женщине. И он действительно влюбился и под влиянием этой страсти восторженно писал мне о греческих идеалах, о римских завоеваниях и о молитвословиях еврейского народа. Привожу целиком это письмо, чтобы дать вам понятие о милых крайностях идеализма того поколения, которое слышит теперь под названием «людей сороковых годов».

«Да, брат, – писал он, – не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, что кому нравится, – а то хорошо, что кто любит, а то еще лучше, во что кто влюбился. Я все думал, думал, что значит влюбиться? – и увидел, что влюбиться может не всякий; а счастлив тот, кто влюбился... Влюбиться – значит: пришел, увидел, победил! Не знаю, как ты думаешь, а по-моему влюбляется не только частный человек, а даже целые народы. Кто любил, тот жил; а кто влюбился, тот будет жить весь век, если не здесь, так там, т. е. если не в теле, то в духе целого человечества. Да, брат! Взгляни на прежние века и спроси, кто был влюбленный народ??? Грек любил свою землю, – он был влюблен в свою природу, в свое небо, он жил и умер для природы. Он олицетворил свою природу в тысяче богов, он воплотил свою природу в миллионы лучших произведений рук, ума и фантазии, и оставил нам любоваться ими, или лучше *ею*;

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.